



The universe is made of stories, not atoms.  
*Muriel Rukeyser*<sup>1</sup>

## ОБЪЯСНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ

Эта странная книга содержит три повести (одна непропорционально длинная) — и объяснительный текст, соединяющий их в целое. Связующий материал (я назвал его «Киклоп») можно рассматривать в качестве дополнительного рассказа, полностью документального — хотя я признаю, что в таком качестве он никуда не годится: в нем есть длинное и подробное вступление, есть заключение, но почти отсутствует повествовательная часть, вместо которой читателя ждет несколько страниц моих шатких рассуждений, отдающих научпопом.

Я хочу попросить прощения за эти недостатки — но книга и не могла получиться иной. Говорить о работе Киклопа подробно я не стал по причинам, которые будут вполне ясны. С другой стороны, совсем не упомянуть о Киклопе я не мог тоже — иначе три моих повести потеряли бы всякую связь друг с другом: было бы непонятно, что у них общего, кем они написаны и откуда вообще взялись.

Поэтому прошу иметь в виду: моя цель — рассказать не столько о Киклопе, сколько о том, что

---

<sup>1</sup> Вселенная состоит из историй, не из атомов.

*Мюриэль Рукэйзер, американская поэтесса*

Киклоп увидел и понял на своем посту. Ибо многое из этого кажется мне заслуживающим внимания.

В своей книге я иногда пользуюсь научной терминологией. Хочу подчеркнуть, что я не физик и вообще не имею никаких технических познаний. Я просто пытаюсь объяснить наблюдаемую реальность в терминах, которые у всех на слуху, чтобы не придумывать слишком много неологизмов. Физик, возможно, найдет в моем рассказе нестыковки и противоречия. В таком случае предлагаю ему придумать объяснение лучше моего — и сохранить его себе на память.

Физическая сторона вопроса на самом деле не особо для меня важна. Но она довольно интересна. Во времена Галилея и Коперника полагалось во вступлении делать реверанс в сторону церковной догмы и соотносить с ней все гипотезы и предположения, а сегодня мы должны точно так же кланяться догме научной. И если я говорю иногда про «мультиверс» и «многомерность», я делаю это примерно с теми же чувствами, с которыми Галилео мог бы упоминать в своей книге пророка Исаяю и Ангелов Божьих: с робкой верой, что Святое Писание понято мной, грешным колдуном, хоть отчасти правильно.

В книге почти нет связи с актуальной действительностью. Думаю, что в наше время это скорее достоинство, чем наоборот.

Засим почтительно возлагаю к стопам Читателя и Читательницы свой скромный труд.

# Часть 1. КИКЛОП

## ГОЛЕМ ИЛЕЛЕЕМ

В начале следует описать ту точку, где сходятся все эти истории — или, может быть, откуда они расходятся.

Наверно, скорее расходятся — потому что только с учетом этого центрального события делаются понятными все изгибы прослеженных мною судеб.

Это было похоже на вспышку магния, которая запечатлела героев в случайных позах — и послала в будущее их фотографические отпечатки. Я говорю «магния», поскольку огонь и дым были настоящими. Айфон такой вспышки не даст даже по команде из АНБ. Хотя, конечно, как знать — я где-то читал, что американские смартфоны могут не только подслушивать, подсматривать и поднюхивать, но и детонировать по сигналу из центра, пробивая ушную раковину и мозг направленным взрывом аккумулятора. Наверно, конспирологический юмор.

Но по порядку.

Я знал, что не останусь Киклопом вечно. Это опасная нервная работа, которую выполняют обычно не больше года или двух. Потом Птицы нащупывают в ткани нашего мира мешающий

им узел с достаточной точностью, чтобы удалить его — если надо, вместе с самой тканью. Они больше не используют в качестве оружия случайно оказавшихся рядом людей. Так они ведут себя, когда действуют вслепую, и Киклоп случайно появляется в поле их внимания на несколько секунд. Если они твердо знают, где искать своего врага, они поступают иначе.

Как, я сейчас расскажу.

Точно подо мною располагалось рабочее место Кеши — молодого человека, различным состояниям и формам которого будет посвящена значительная часть этой книги. Можно сказать, что в то время он был самым близким мне существом — во всяком случае, в пространственном смысле.

Иногда я позволял себе нескромное, наверно, развлечение — настраивался на его ум и начинал наблюдать за происходящим в окружающем пространстве через его глаза — и даже сквозь призму его сознания. Я воспринимал не только то, что он видел, но и голоса, раздававшиеся в его уме (не буду называть их мыслями — поскольку половины из них он не слышал сам, а другой половине подчинялся без размышления).

Иногда это бывало интересно, иногда — очень. Если он, например, включал своих японских школьниц (такое случалось, когда в офисе оставалось мало народу и Кеша был уверен, что никто не подойдет к нему со спины), его внутреннее пространство заполнялось грубоватым комментарием, похожим на футбольный. Кеша, за-

служенный работник bondage/bukkake на пенсии, как бы разъяснял происходящее несмышленным профанам, которые смотрели порнушку вместе с ним. Таким профаном в эти минуты был один я — но Кеша в своем воображении транслировал сигнал на куда большую аудиторию. Все-таки поразительно, до какой степени человек общественное существо.

Когда людей в офисе собиралось слишком много, чтобы можно было смотреть порно или играть с компьютером в игры, Кеша начинал троллить зазевавшихся граждан в Интернете — словно ас Второй мировой, вылетевший на свободную охоту. Картинка на экране делалась на это время совершенно пристойной и функциональной: любой медийный работник сегодня полдня ныряет по блогосфере.

Иногда Кеша отвлекался от компьютера, глядел на своих соратников по офису — и выносил им приговор судьбы.

Наименее жесток он был к девушке Наде, занимавшейся буфетом и озеленением пространства — «если пострижется нормально и перестанет бояться людей, то найдет себе какого-нибудь азербота». Других он судил строже. Главного редактора сайта «Contra.ru» (так называлось место, где он работал) он окрестил про себя «шабесгеем» (что не мешало Кеше ежедневно перед ним заискивать — но жизнь, как известно, есть клоунада). При этом Кеша искренне считал, что влечение к виртуальным японским школьницам является нормой, а главный редактор — перверт.

Соответственно, информационный продукт родного сайта Кеша называл про себя словом «шабесгон» (даже бормотал во время дедлайнов мечтательную мантру-стишок «мой шабесгон, мой шабесгон — как много дум наводит он»). Коллег по работе он делил на «вонючек» и «усталых» (первые с годами превращались в последних, отвоняв свое — примерно как выгорающие звезды).

Ну и так далее. Кеша на самом деле не был ни гомофобом, ни антисемитом, ни снобом. Просто ассемблер чужой души при близком рассмотрении редко выглядит привлекательно. Но мы еще вернемся к Кеше — сейчас я рассказываю об этом, чтобы было понятно, чем я занимался внутри его головы в тот день, когда произошло роковое событие. Я отдыхал в ней, как в персональном кинозале — в этот день крутили довольно интересное кино.

В редакцию «Контры» пришел входящий в моду поэт Гугин, бочкообразный лысый мужчина с треугольной рыжей бородой («бегемот апокалипсиса», как он сам себя называл — но темно-багровый цвет его лица наводил скорее на мысль об апоплексии). С ним делали большое интервью.

Было две телекамеры и три прогрессивных журналиста, пришедших для съемок круглого стола — их рассадили полукругом перед большим белым щитом с надписями «Contra.ru», и Гугин, стоя в фокусе этого живого прожектора, читал стихи («стиши», как он говорил) из своего нового проекта «Голем Илелеем».

Это была амбициозная попытка отразить в стихах все наиболее яркие события недавнего прошлого: составить, как изящно выразилась одна из трех журналистов, «Гугл Мэп Эпохи». Когда Гугин утомлялся, начинал говорить кто-нибудь из журналистов, и камеры поворачивались на него. Потом неиссякаемый Гугин снова начинал декламировать.

Отрывок, который он читал перед вспышкой, назывался «Героям — Пазолини!» и был посвящен, как легко догадаться, известным событиям в Киеве, уже успевшим к этому времени несколько потускнеть в народной памяти:

Под холодным ветром, полным праха,  
согнулся мерзлый тартарас,  
И беркут наш встал черепахой  
В последний раз, в последний раз...

Отчетливо помню эту секунду — и мгновенный срез всех создававших ее умов.

Гугин, читая, соображает, не обидится ли редактор на «тартараса», приняв его за замаскированного «пидараса» — и быстро отмечает во внутреннем блокноте, что надо конкретизировать это как обличительную сатиру на хаос в сознании боевика, увлекаемого в тартары духа Тарасом на щите. Стиш, короче, надо доводить.

Первый журналист, кисло оскаленный блондин с волосами до плеч, размышляет о том, можно ли классифицировать Гугина как полноценного либерала — и сомневается: не все маркеры в стихах расставлены нужным образом, и кажется, что



это сделано вполне сознательно. Хотите войны? Таки война вам будет!

Второй журналист, одутловатый одуванчик, уже наполовину выбритый ветром перемен, думает длинную и сложную мысль: Гугина можно назвать одним из множества современных куплетистов, занимающихся культуррейдерством. Он, в сущности, читает не свои стихи, а чужие, с перебитыми номерами, перекрашенные в нужный цвет — которые он просто перепродает через юридический механизм пародии. Какая-то дура, польстившись, видимо, на слово «голем», назвала новый проект Гугина «русской либеральной идеей, отлитой в гранате» — и, похоже, сама не поняла, что сказала. А попала в точку. На приватизации и перепродаже можно заработать — но можно заработать и на самом Гугине. Например, сделать на эту тему статью под названием «Всюду Шпенглер».

Третий журналист, дама, вспоминает о тех самых словах про отлитую в гранате либеральную идею, так некстати сказанных ею на фоне «тартараса» и вообще поклепа на революцию. Гугин не оправдал аванса. Ничего, выпишем инвойс...

Девушка по имени Надя в нескольких метрах от импровизированной сцены протирает горшок с чахлым ростком пальмы (в горшке стоят две крохотные красные лошадки из пластмассы) и не думает ни о чем — просто смотрит на эту пальму и лошадок. Почему-то земля кажется ей сегодня особенно черной.

За остальными умами в офисе «Контры» я не слежу.

Кеша слушает хриловатый бас Гугина. На душе у него скверно, как и всю последнюю неделю: очень плохие служебные перспективы. Он замечает тень какого-то движения у себя за спиной, оборачивается и видит незнакомого человека, идущего по проходу между столами.

Человек глядит Кеше прямо в глаза. У него небритое лицо горного пассионария, он грязен, за плечами у него рюкзак. Под его распахнутой курткой видна майка с пучеглазой белой овечкой, весело жующей стебли конопли. Его глаза стеклянно блестят: он то ли на наркотике, то ли в трансе. Его губы дрожат — или быстро шепчут.

Кеша понимает, что незнакомец идет именно к нему — но не знает зачем (а я это уже знаю: человек с рюкзаком уверен, что идет ко мне, поскольку наводится на мое внимание, направленное на него из Кешиных глаз). Кеша успевает встать и выставляет перед собой руки. Человек как бы падает в Кешины объятия — и прижимает его к себе изо всех сил, словно встретив наконец любимое существо, которое искал перед этим всю жизнь. Кеша успевает почувствовать нелепый эротизм момента. Сжавший его человек тоже, видимо, ощущает нечто подобное — и шепчет:

— Меня зовут Бату... Аллаху акбар.

Затем происходит страшной силы взрыв. Лампочки всех собравшихся в комнате умов сразу гаснут.

Я прихожу в себя. Я лежу на полу — сила взрыва была такой, что меня сбросило с моего стула этажом выше. Проходит секунда или две, и я понимаю, что больше никогда не буду Киклопом.

А теперь я объясню, как я им стал — и что это слово значит.

## КОРОБКА № 1

Я не собираюсь рассказывать о себе слишком много. Мое настоящее имя должно быть скрыто — такова древняя традиция, и я не хочу ее нарушать. Но это и не понадобится: называя себя последней буквой алфавита, я проявлю смирение, которого мне не всегда хватало в прошлом.

Все началось с того, что умер один из моих дальних родственников — и оставил мне однокомнатную квартиру в Москве недалеко от Садового кольца. Это сильно упростило мою жизнь: я переехал туда из съемного жилья. Теперь я мог работать меньше, и у меня появилась уйма свободного времени. Я занимал его в основном прогулками, чтением и спортом. Со временем я собирался стать «писателем» — это означало, что, зря растрачивая молодость, я уверял себя, будто накапливаю необходимый жизненный опыт.

В квартире был сделан приличный ремонт, поэтому я ограничился тем, что вывез все оставшиеся от покойного вещи, заменив их своими пожитками. Я оставил только один из доставшихся мне по наследству объектов — большой фанерный

ящик, полный старых книг и желтых ксерокопий. Сохранил я его главным образом потому, что мне понравилась украшавшая его надпись масляной краской:

### КОРОБКА № 1

Мой покойный родственник, что-то среднее между дядей и дедушкой, был одним из позднесоветских «внутренних эмигрантов». Он всю жизнь собирал характерную для этой среды литературу, главным образом так называемую «эзотерику» — и хранил ее в задвинутом под кровать ящике, чтобы она не попадалась на глаза редким гостям. В советское время каждый сторож свято верил, что за ним следят — и был, возможно, прав.

Не могу сказать, что во мне проснулся внезапный интерес к тайному знанию времен московской Олимпиады. Но отчего-то мне показалось неразумным выкинуть доставшиеся по наследству облигации и ваучеры духа, даже не попытавшись их обналичить.

В коробке были фантастические романы, которые обитатели советских катакомб принимали за послания свыше. Были послания свыше, замаскированные под фантастические романы. Были древнеегипетские тексты, сочинения Шмакова и Блаватской — и прочий археологический материал. Там же нашлось несколько книг индийских учителей в английском оригинале.

Станный информационный коктейль, вылившийся на меня из этого фанерного ковчега, на-

долго зачаровал мою душу. Есть такой анекдот про слепых, ощупывающих слона — вот и я, можно сказать, осваивал похожий подход к древней человеческой мудрости.

Конечно, сейчас многие скажут, что приветливый хобот, касавшийся моих страждущих губ, был на самом деле мокрым хвостом уходящей в забвение драг-культуры шестидесятых. Но даже если я заблуждался, мне все равно везло. Везением была сама возможность ошибки — в те дни ошибиться было еще можно, и именно сбой матрицы, как это всегда бывает, вели в непредсказуемый лабиринт чудесного.

Желтые страницы шептали: если ты хочешь, чтобы высокое и тайное вошло под темные своды твоего «я», следует развить в себе благоговение и склониться перед неизвестным в молчаливом поклоне. Дело не в том, что кому-то нужны эти поклоны. Тут действует простой эффект наподобие физического: чтобы легкие втянули в себя свежий воздух, в них должен возникнуть вакуум. Нельзя наполнить чашку, которая полна до краев — она должна быть пустой.

Мы все лишь части единого, впитывала в себя моя замершая в поклоне тишина, и главным заблуждением человека является вера в то, что вокруг него — какой-то «внешний» мир, от которого он отделен воздушным зазором. Человек состоит именно из мира, прорастающего сквозь него тысячью зеленых ветвей. Он и есть переплетение ветвей, поднимающихся из озера жизни. Отражаясь в его поверхности, ветви верят в свою отдельность,

как мог бы верить в нее, к примеру, зеркальный карточный валет, не догадывающийся, что им просто играют в дурака и без колоды он нефункционален.

Наш ум — продолжение ума тех, кто жил раньше, наше тело состоит из праха древних звезд, а волшебный язык, на котором мы думаем об этом, самая центральная и интимная часть нашего существа — выставлен напоказ в любом букваре... Высшее «Я» мира — в каждом из нас, шептали желтые страницы, только сумей найти его.

Но я сразу понял, что искать это высшее «Я» будет другое, низшее — которым я в результате и окажусь. Вся тайная мудрость человечества представлялась мне чем-то вроде зеленого лесного лабиринта. Его тропинки подводили близко-близко к висящему над ним яблоку истины — и снова уводили прочь. Сделаться, стать, оказаться тем единственным, что было всегда и с самого начала, для смертного человека невозможно. Одна кажимость может как угодно перетекать в другую, облака могут принимать самые разные формы — но они никогда не смогут стать небом.

«Понять, что ты всегда был...»

Желтые страницы, похоже, немного ввали. Или хитрили. Или недоговаривали. Мираж может понимать про себя что угодно, но никогда не станет вечностью — он в лучшем случае станет ее миражом. Путь в вечность не существовало просто потому, что по ним нельзя было уйти дальше, чем от забора до могилы, причем даже это короткое путешествие начинали и заканчивали совершенно

разные существа. В комментариях мелким шрифтом сообщалось, что это отсутствие пути и есть он самый. На этом можно было успокоиться, подивиться лишний раз мудрости древних — и все забыть.

Но меня не оставляло чувство, что есть какое-то очень простое действие — как выражались мои источники, «трансцендентное усилие», способное разом спрямить все углы и убрать все нестыковки. Я подозревал, что «гордиев узел» не следовало даже рубить — его, как в цирковом фокусе, можно было сдвигать вниз по веревке, пока он не упадет.

Дело в том, что это не искатель истины становился бесконечностью, как пели желтые страницы. Все было наоборот — сама бесконечность становилась искателем истины. Она-то могла это сделать, потому что способна была принимать любую форму, в том числе уже существующую. Я мог, согнув пальцы, изобразить на стене тень крокодила. Но тень крокодила даже при величайшем духовном усилии никогда не смогла бы стать моими пальцами.

Однако вечность делала это не по выбору соискателя, а по своему собственному разумению. И тогда действительно все углы спрямлялись, все невозможности исчезали и все гордиевы узлы падали в траву сами собой.

Но как? Как? А никак, хихикали желтые листы, путь именно таков. Я долго размышлял — и, кажется, понемногу начал понимать это «никак». Оно подразумевало тишину, покой и как бы отсут-

ствие волн. А покой был невозможен без чистой совести. Но что значит — «чистая совесть»?

Помню поразившую меня сцену в каком-то русском романе: бандит с крестом на груди перед выгодным убийством задумывается на секунду о его моральных последствиях — и, махнув рукой, бросает:

— А! Отмолю...

При всем уважении к отечественной духовной традиции, я чувствовал — дело не в «отмолю». Многое из того, что человечество полагало грехами, казалось мне невинными шалостями. Но совершать их все равно не следовало. Просто потому, что нарушение земных, небесных — или полагаемых таковыми — установлений, какими бы странными они ни казались нормальному человеку, неизбежно порождало в душе беспокойство.

В уме как бы раздавалось множество гневных древних голосов, которым отвечало такое же множество раздраженных тонких голосков помоложе. Это случалось независимо от духовной силы отдельно взятой личности и от весомости личного «право имею» — собранный в душе культурный организм неизбежно вступал в диспут сам с собой (что хорошо показывала, например, история Родиона Раскольникова).

Дело было не в том, кто из голосов «прав», а в самом этом сумеречном состоянии духа, различавшемся по интенсивности от шторма до ряби — которое полностью лишало ум его, так сказать, отражательной способности, пряча от человека небо вечности с его великими звездами. Я догадывался,



что именно для этого мировые эмиссионные банки и финансируемая ими культурка и поддерживают так называемый «прогресс», этот вечно тлеющий конфликт между равновонючими «старым» и «новым». Вечность не то что брезговала войти в пораженные клокочущим смятением души. Она просто не могла.

Зеркало души следовало держать чистым и ясным — и делать все возможное, чтобы в нем не начиналась рябь. Поэтому я старался не причинять зла другим и следовал даже глупым социальным установлениям, если за их нарушение полагалась внутренняя кара. Я помогал людям чем мог, не делая из этого, впрочем, фетиша — и вообще был покладистым и добрым: это позволяло быстро забывать встречных.

Разумеется, я не держал зла на сделавших мне дурное, принимая это просто как одно из собственных жизни неудобств. Я не обижался даже на тех, кто сознательно стремился меня оскорбить и унижить, видя в этом трогательную попытку набиться мне в знакомые.

Помогало мне, в частности, то обстоятельство, что я отчетливо понимал: в России «восстановление поруганного достоинства и чести» быстро приводит на нары в небольшом вонючем помещении, где собралось много полных достоинства людей, чтобы теперь неспешно мериться им друг с дружкой. Мне никогда не хотелось составить им компанию из-за химеры, которую они же и пытались инсталлировать в мой ум.

При первой возможности я старался отойти от плюющихся подобными императивами граждан как можно дальше. Я научился различать конструкции, собранные ими в моей психике в мои бессознательные годы. Поэтому у меня без особого усилия получалось замечать в своей душе приступы ненависти, столь характерные для нашего века, и я почти никогда не позволял им обрести для себя рационализацию, превращающую людей в русофобов, либералов, националистов, политических борцов и прочих арестантов.

Я ни разу не испытывал искушения гордо посмотреть в глаза идущему мимо гостю столицы или укусить добермана за обрубок хвоста. У меня не было ни политической программы, ни травматического пистолета. Я позорно уклонялся от революционной работы и не видел в показываемом мне водевиле ни своих, ни чужих, ни даже волосатой руки мирового кагала. Куски распадающегося мяса, борющиеся за свою и мою свободу в лучах телевизионных софитов, не вызывали во мне ни сочувствия, ни презрения — а только равнодушное понимание управляющих ими механизмов. Но я всегда старался сдвинуть это понимание ближе к сочувствию — и у меня нередко получалось.

Я не смотрел телевизор и не читал газеты. Интернетом я пользовался как загаженным стационарным сортиром — быстро и брезгливо, по необходимости, почти не разглядывая роспись на стенах кабинки. И к двадцати пяти годам тревожная рябь в моей душе улеглась.

## ЗЕРКАЛО

В жизни всякого молодого человека есть огромные равнины скуки. Ничего не происходит, ты цепенеешь, как дерево в июльский полдень, и кажется, что «сейчас» никогда не сдвинется с места. В эти минуты мы и принимаем свою главную позу — главную не из-за какого-то присущего ей смысла, а потому, что именно такими вечность фотографирует нас на память. Она чаще всего запоминает нас молодыми.

Для меня эта вечная фотография выглядит так: парень в сером кимоно (оно было мне очень велико и служило чем-то вроде домашнего халата) сидит в полулотосе перед старым зеркалом в дубовой раме. Зеркало таких размеров, что больше похоже на калитку. Подложка стекла уже стала окисляться, или что там бывает со старыми зеркалами, и по ней веером расходятся черные пятна. Но мне это не мешает — там, куда я гляжу, со стеклом все в порядке.

Я делаю упражнение «циклоп», описание которого нашел в коробке № 1 — в рассыпающейся от ветхости брошюре (мелованная бумага, синий шрифт с ятями, 1915 год).

Упражнение заключается в том, что йогин (меня ужасно волновало это слово) садится перед зеркалом на расстоянии чуть меньше метра (точная дистанция подбирается экспериментально) и скрещивает глаза таким образом, что их отражения раздваиваются — пока отражение правого глаза не накладывается на отражение левого точ-

но над переносицей. Сделать это просто, сложнее долго удерживать отражения в таком ракурсе. Но при известной практике можно научиться. Результат упражнения, утверждала брошюра — развитие ясновидения.

Я не особо верил в ясновидение, конечно. Но меня развлекало происходящее. Довольно скоро из зеркала на тебя начинает смотреть очень глубокий, странный и удивительно реальный глаз, уже не совсем твой — по своей геометрии он представляет собой нечто среднее между правым и левым. А потом ты вообще перестаешь видеть что-то кроме него, поскольку иначе невозможно удерживать его в фокусе. Если делать это упражнение долго — а я иногда просиживал перед зеркалом часами, — глаз начинает понемногу оживать.

Через него поочередно проходят все возможные человеческие выражения: презрение, гнев, интерес, омерзение, равнодушие, насмешка... Я знал, что вижу просто отражение своего собственного ума («психического состава», как выражалась ветхая тетрадка с синим шрифтом). Но постепенно я начинал понимать — дело не только в психическом составе.

В упражнении определенно скрывалась тайна. Смотрящий из зеркала глаз не был моим. Он вообще не был чьим-то. Мне казалось, он больше всего похож на дверной глазок. Я сижу перед дверью, а за ней время от времени проходят неизвестные и ненадолго останавливаются на мне взгляд (как если бы платоновскую пещеру приватизировали

и укрепили стальной дверью какие-то философы с очень серьезными связями).

Иногда странный глаз смотрел на меня с ненавистью, иногда с презрением, иногда брезгливо — и каждый раз мое сердце испуганно соглашалось, что именно этого я и заслуживаю. Но однажды глаз посмотрел на меня с новым выражением.

Оно походило на сочувственное понимание. Причем понимание инженера: мне показалось на миг, что этому взгляду моя душа представляется чем-то вроде пинбола — наклонной доски с лунками, по которой катается выброшенный пружиной шарик, отскакивая от электрических рычажков. Глядящий мне в сердце глаз внимательно рассматривал этот пинбол.

Потом мой взгляд расфокусировался, и глаз исчез.

Воспоминание о случившемся вслед за этим до сих пор вызывает у меня содрогание. Мне вспоминается сцена из старого фильма-катастрофы, где была показана изнутри кабина врезающегося в океан «Конкорда» — лобовые стекла за долю секунды превращаются в фонтаны сверкающей воды, сносящей на своем пути все.

Стоящее передо мной зеркало вдруг словно врезалось на огромной скорости в океан — или это поверхность океана с той стороны стекла со страшной силой ударила по зеркалу и мне, расшибла нас взрывом и разорвала на атомы...

Когда я пришел в себя, я лежал на полу в центре комнаты. У меня болела неловко подвернутая нога, но я был цел. Зеркало тоже выглядело целым —

и кое-где на нем даже виднелась пыль, из чего следовало, что случившийся передо мной взрыв был просто галлюцинацией. Или, тут же возникла в моем сознании мысль-противовес, взрыв был настоящим, а галлюцинация — то, что я вижу сейчас...

Я встал и посмотрел в открытую дверь балкона. Был виден близкий дом напротив, окно чужой кухни. В нем копошилась у плиты грудастая женщина с агрессивным румянцем во все лицо. Она уколола себя в палец ножом — и наморщилась от боли.

Ее звали Мария Львовна. Ей было немного за сорок, у нее имелся муж и двое детей. Мужа она ненавидела за маленькую зарплату и большой член (да, бывает и такое), детей скорее любила — но проявлялась эта любовь тоже как ненависть, и они ее боялись. Она была родом из Костромы, выросла на берегу Волги, в детстве ей подарили пластмассовый велосипед с тремя красными колесами — и один раз, когда она на нем катилась по лесной тропинке, ей на руку села удивительно красивая оса с длинным брюшком и с почти человеческим остервенением вонзила жало прямо ей в палец...

Мое внимание за секунду провалилось в память этой женщины по какой-то странной избирательной траектории, минуя множество спрессованных событий — прямо в ту точку, где возник эмоциональный рефлекс, исказивший ее лицо. Она сама даже не знала, что переживает это давнее происшествие заново — а я знал.

Я знал много другого. У нее было плохое настроение из-за только что кончившегося скандала с привлечением милиции: она обвинила живущего за стеной соседа (математика из института им. Стеклова, это мне тоже откуда-то было известно) в педофилии и русофобии — на основании прилежавших из-за стены звуков. Менты, приехав по вызову, хотели сначала забрать ее саму, но главный мент, похоже, ей поверил, потому что по оперативному опыту знал, что почти все бородатые математики — педофилы и русофобы.

А вот муж ей не поверил. Мало того, муж предложил ей написать заявление на другого соседа — обвинить его в некрофилии на основании полного отсутствия звуков за стеной: главный мент, сказал он, наверняка опять врубится. Это, может, было и смешно. Но она не смеялась. Муж хотел выглядеть иронично — а выглядел, на ее взгляд, просто жалко, потому что приносил домой меньше шуток. И кому нужны были его шуточки...

Эти смысловые зигзаги возникали перед моим взором, как шоссейная разметка, несущаяся в свете фар под колеса. Я мог пойти по любому маршруту. Я все знал про ее мужа (преподаватель истории в каком-то закрывающемся институте). Я все знал про главного мента (тот сам страдал педофилией, поэтому его вердикту насчет математиков можно было доверять). Мало того, я мог за секунду провалиться (или обрушиться — так это ощущалось) к любому их переживанию, уже забытому ими самими. Сквозь их память я мог шагнуть к другим людям. И так сколько угодно раз. Это был беско-

нечный лабиринт, к любой точке которого я мог перенестись — как если бы впереди раскинулся светящийся город, а сам я сделался током, питающим его огни.

И все это промелькнуло в моем сознании за то время, пока я смотрел на стоящую у плиты женщину в окне напротив. А как только я зажмурился, наваждение кончилось.

Я опять открыл глаза.

Все вокруг оставалось как прежде. Передо мной была серповидная подушка для медитации, коврик для йоги и стоящее у стены зеркало...

Коврик и подушку я купил в свое время через Интернет. Но теперь я знал, откуда их привез курьер (магазин со странным названием «Йожимся!» — если знать нужные слова, можно купить курительные смеси, владелец использует одну из продавщиц в качестве персональной strapon-шакти). Я знал, где сделана серповидная подушка (подвальная мастерская, где шили чехлы для мебели и матрасов — для них это был мелкий приработок). Я даже смог увидеть гречишное поле, где зародилась шелуха, которой набили подушку.

Коврик был из того же магазина, но передо мной его успела два дня поюзать одна девушка с великолепной растяжкой — она вернула его в магазин, потому что для нее он оказался слишком толстым и мягким, а в магазине коврику вернули девственность, запаяв в пластик.

Зеркало... Вот про него я почти ничего не видел. Оно было очень старым, и все, кто его сделал, давно умерли. Я смог различить какой-то полосатый



фартук, руки во вьевшейся грязи и стоящие у стены деревянные рамы — видимо, в мастерской. Но это видение напоминало обрывок старой и плохо сохранившейся фотографии.

Даже паркет попытался вновь стать умирающим под пилами лесом — и рассказать про своих убийц. Я остановил его лишь огромным усилием воли.

Мир изменился. И как!

Из моих слов может показаться, что это приключение было занимательным и веселым. Но я переживал его иначе — я чувствовал себя ныряльщиком, окруженным стаей агрессивно настроенных рыб, в которых превратились все без исключения предметы. Каждая из рыб хотела ворваться в мой ум и проглотить его. Для этого мне достаточно было остановить внимание на любом из окружавших меня объектов и чуть-чуть ему поддаться.

Подойдя к окну, я посмотрел во двор. Там ходили люди — и я по очереди впустил их в себя, пережив за минуту столько эмоций (довольно, впрочем, однообразных — все люди сколочены из одинаковых досок), что к концу этого короткого трипа вообще перестал понимать, кто я такой на самом деле. Мое прошлое ничем не отличалось от их прошлого — разница была только в том, куда направлено мое внимание.

Сделав еще несколько опытов с неодушевленными предметами (стоящая во дворе красная машина, луковка далекой церкви, мусорный бак, после которого мне расхотелось эксперименти-

ровать дальше) и с птицами (мне стало ясно, почему животным раньше отказывали в душе — они ничем не отличались от того, что с ними происходило, в то время как люди несли в себе обособленный, клокочущий и никак не связанный с окружающим мир), я окончательно понял, что мне совсем не нравятся эти информационные инъекции.

Они были не то чтобы болезненными, нет. Они были слишком назойливыми. Врывавшееся в меня переживание каждый раз оказывалось новым, оглушительным и настолько ярким, что напоминало взрыв светозвуковой гранаты в голове.

Я, к счастью, мог сопротивляться этим вторжениям, удерживая наведенные на меня со всех сторон острия бесчисленных смыслов. Я мог выбирать, чему поддаться, а чему нет. Но стоило мне расслабиться, забыться — и равновесие нарушалось. Одна из пик, как бы вобрав в себя общее давление всего мира, протыкала мою защиту — и я исчезал, превращаясь то в дерево, растущее сквозь человеческие кости, то в просиженную тысячью советских задниц каменную скамью, то в торчащий из мусорного бака сапог, полный тайн своей одинокой госпожи и ее ротвейлера.

Мне не пришло в голову ничего лучше, чем съесть три таблетки снотворного — и запить их водкой из холодильника («смирновка» оказалась паленым продуктом осетинских водочных баронов, один из которых как бы поцеловал меня небритым вонючим ртом в тот самый момент, когда я выдыхал воздух после глотка). Потом я залез под

одеяло, зажмурился и отталкивал от себя любые попытки вселенной пробраться в мой череп до тех пор, пока меня не накрыл черный медицинский сон.

Сначала этот сон был просто глубокой ямой, похожей на могилу. Мне нравилось в ней лежать, потому что мои чувства отключились и перестали меня терзать. А затем меня посетило очень четкое и ясное сновидение. Слишком четкое — я ни секунды не сомневался, что вижу происходящее в реальности.

Я увидел полутемную комнату (что-то вроде высеченного в скале зала), где стоял высокий каменный трон — строгой формы, без всяких украшений. На нем сидела восковая кукла человека. В ней я сразу же узнал себя — несколько, впрочем, идеализированного.

В стене напротив восковой куклы был прямоугольник светящегося стекла. Я догадался, что передо мной то самое зеркало, возле которого я столько времени провел в полулотосе, — но видное с другой стороны. Из полутемного помещения, откуда я смотрел, казалось, что за стеклянным прямоугольником — бассейн жидкого света, бросающий в каменный зал приятно дрожащие прохладные блики.

По бокам моего воскового двойника стояли два человека в масках. Маски эти походили на венецианские полуфабрикаты до окончательной окраски — они были белыми и изображали простые правильные лица с мягкими чертами, без всякого особенного выражения. На незнакомцах были

длинные накидки из сероватой ткани, которые идеально подошли бы и современному хирургу, и древнему египтянину.

Они делали с моей восковой копией что-то странное. Сначала один завязал мне глаза широкой полотняной лентой. Потом он же прилепил в центр моего лба большой открытый глаз. Второй участник процедуры наложил мне на шею под кадыком другую восковую заготовку — красные полуоткрытые губы. А затем первый приклеил на мое солнечное сплетение бледное восковое ухо. Каждый раз, когда их руки трогали моего двойника, я чувствовал прикосновение — на лбу, на шее и в районе груди.

Закончив, оба они повернулись к зеркалу, синхронно поклонились ему — и так же синхронно сказали:

— Киклоп!

Я понял — они обращаются ко мне, а слово «Киклоп» значит то же самое, что «циклоп». Просто это было старинным произношением. Мне показалось, что моих ушей достиг какой-то древний звук, носящийся над миром со времен Трои — если не дольше.

Я уже знал, кто эти люди в масках. Это была Свита. Но мне не следовало пока думать о них, чтобы не тревожить их зря своими мыслями. Это я знал тоже.

Дальше была чернота.

Придя в себя (я спал почти до середины следующего дня), я понял, что мои проблемы не кончились.

Какое там.

На простыне передо мной лежало выпавшее из подушки перо. Обычное перо.

Мой ум, оттолкнувшись от него, скакнул в зловонный ад птицефабрики, вынырнул в ее дирекции (где царило не меньшее зловоние, только другого рода) — и, после нескольких безумных кульбитов в чужих головах, открыл тайну одного забытого громкого убийства (и заодно — тайну убийства исполнителя: совсем тихо, через удушение). Вслед за этим в мое сознание с кудахтаньем и вонью ворвалось множество корпоративных секретов российского бизнес-сообщества, от которых я точно так же не успел увернуться...

Но я уже знал, что мне следует сделать. У меня имелась на этот счет спокойная и уверенная ясность, вынесенная из глубин сна. Я не помнил, привиделось мне такое решение или кто-то его мне внушил — но я понимал, что это единственный оставшийся выход.

Мне надо было совсем отбросить сопротивление и позволить миру полностью заполнить мой ум. Следовало не отталкивать протыкающие мое сознание смысловые лезвия, а пустить их в себя — все сразу. Я знал, какого рода усилие потребуется. Это было примерно как выйти из-под протекающего навеса под дождь. Или как прыгнуть из ледяной стужи в чернеющую на льду прорубь.

Выбора у меня на самом деле не было — иначе моя жизнь стала бы невыносимой. Любое перышко в поле моего зрения могло разорвать мне череп. Я не смог бы всю жизнь фехтовать с этими краду-

щимися ко мне со всех сторон откровениями — они превратили бы меня в подушечку для булавок.

Надо было решаться. И все-таки я провел в сомнениях всю первую половину дня.

Мне дал пинка холодильник, куда я полез за едой (я не знал, что корейский сборочный конвейер так похож на ленту выдачи багажа в провинциальном аэропорту, а работающие на сборке люди так фундаментально несчастны).

Душ окатил меня страшной правдой о состоянии районного водопровода (после чего у меня возникло желание вымыться еще раз какой-нибудь другой водой).

Даже дверь в ванную успела сообщить мне о пьянстве, которому предаются усатые и краснорожие инженеры испанских мебельных фабрик, из-за чего неправильно просушенный лак трескается потом мелкой сеткой.

Творог и итальянское оливковое масло (не вполне оливковое и не очень итальянское — итальянской на сто процентов была только мафия, подогнавшая из Туниса левый танкер с канолой<sup>1</sup>) проделали такой мучительный и не всегда гигиеничный путь к моей тарелке, что я не знал, как буду их есть дальше. А чай... Нет, лучше бы я не видел, кто и как сгребает его в кучи.

В общем, выглядело это так, словно мир перестал меня стесняться — и показал мне свой срам. Даже не срам, а все свои бесчисленные срамы:

---

<sup>1</sup> Канола — растительное масло, которым иногда разбавляют оливковое. — *Примеч. авт.*